

СООТНОШЕНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ПОВЕСТИ А. ПЛАТОНОВА «КОТЛОВАН»

О. Ю. Алейников

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 12 декабря 2018 г.

Аннотация: в статье анализируются дискурсивные тенденции и соотношения, характерные для повести «Котлован», изучаются особенности реализации авторских интенций с учетом динамической транскрипции рукописи произведения. На материале различных редакций повести рассматриваются тенденции, связанные с бюрократическим дискурсом и дискурсом советской пропагандистской печати, реализованным в «официальном языке», искажающем суть социальных и природных явлений. Исследуются аксиологические векторы повествования, в соответствии с которыми опротестовываются трактовки, не обеспеченные реальным жизненным смыслом. Изучаются закономерности, в соответствии с которыми на различных стадиях развития сюжета сопрягаются взаимодействуют и «соперничают» не совпадающие кругозоры, выясняется специфика влияния дискурсивных соотношений на организацию повествовательных структур.

Ключевые слова: авторские интенции, дискурсивные тенденции, повествовательные структуры.

Abstract: the article analyzes the discursive relations typical for the novel “the Pit”, studies the peculiarities of the author’s intentions implementation taking into account the dynamic transcription of the manuscript of the work. On the material of various editions of the story the tendencies connected with the bureaucratic discourse and the discourse of the Soviet propaganda press realized in the “official language” distorting the essence of social and natural phenomena are considered. Examines the axiological vectors of narrative, according to which contested interpretations not backed by real-life sense. The author studies the regularities according to which at different stages of the plot development interact and “compete” not coinciding horizons, it turns out the specifics of the influence of discursive relationships on the organization of narrative structures.

Keywords: author’s intentions, discursive tendencies, narrative structures.

В ранней редакции повести «Котлован» намечены важнейшие дискурсивные тенденции этого произведения. Вощеву, уволенному с завода «вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего [потока] темпа труда» [1, 169], встречается человек, «одетый, как в документ, в старинно-служебную форму». Он «произносил речь об убогости окрестной жизни», «социальной силе прибывших механизмов» («машин для земледелия») но, заметив угрюмые лица, объявил, что слушавшие его крестьяне не понимают «смысла всего существования», поэтому избывают свой век «заочно» [1, 176]. Прозаик дважды называет в рукописи этого персонажа «техническим человеком» и дважды отказывается от найденного эпитета, делая выбор в пользу метафоры «человек в старом документе» [1, 176].

Дискурсивные практики, основанные на недоверии к демагогической риторике, скрытой за «мундиром» или документом, и до начала работы над повестью были реализованы писателем в «Городе Градове», «Епифанских шлюзах», «Сокровенном человеке», «Усомнившемся Макаре». Сверхтекст платоновской прозы убеждает, что техника, облегчаю-

щая труд, и «документ», предписывающий правила поведения и восприятия жизни, для писателя — явления взаимоисключающего порядка. В рукописи «Котлована» отразилась реализация этой антитезы: эпизод с «прибывшими механизмами» для «освобождения трудящихся от тягости пахоты» [1, 176] исключается, предполагаемое ускорение жизни, так называемые «темпы» производства заменяются на «директивы» [1, 182].

В то же время дискурсивные тенденции, связанные с политической риторикой, усиливаются: работникам «фронта культуры» приходится «мучиться» над улучшением «классовой сущности пролетария» (в первоначальном варианте было «человеческой сущности пролетария» [1, 183]). «Старший [по бригаде]» аттестуется как «наиболее активный среди мастеровых» [1, 189]. «Слезла шкура скуки» переделано на «слезла шкура капитализма» [1, 230]. «Скорбь у нас запрещена!» изменено на «скорбь у нас аннулирована!» [1, 235]. Общественно-политическая лексика всё очевиднее сопрягается с бытовой: вместо «чужая вша <...> всегда наружу выползает» в рукопись вносится «чужая вша <...> свою линию всегда наружу держит» [1, 221]; «масса, масса! Трудно из тебя сварить кулеш коммунизма» изменено на «... организовать кулеш

коммунизма» [1, 231], «убедить в неразумности *их* [состояния] [капиталистического состояния]» направлено на «убедить в неразумности огороженно-го дворового капитализма» [1, 263] и т.п.

Активизация общественно-политического и бюрократического «словника» затрагивает сферу частной жизни, которая, как правило, вытесняется на периферию повествования: «в суете сплывания масс и организации подсобных радостей для рабочих он не помнил про удовлетворение удовольствиями [личной] личной жизни, худел и спал глубоко по ночам» [1, 190]. Кроме того, показательно, что «осердеченный» почтовый дискурс, игравший структурообразующую роль в «Епифанских шлюзах» и повести «Однажды любившие», в разных редакциях «Котлована» сохранён лишь эпизодически. Инженеру дорог был «момент, когда он наклеивал марку и опускал письмо в ящик, всегда давал ему спокойное счастье, точно он чувствовал чью-то нужду по себе, влекущую его остаться в жизни». С этим посылом, основанным на родственном чувстве, диссонирует заключительная часть высказывания: «и тщательно действовать для общей пользы» [2, 214]. Зависимость от официального языка эпохи демонстрирует Прушевский и в письме Чиклину, защищавшему «производителя работ» от страхов и фобий, приобретенных в годы радикальных социальных перемен: «я боюсь, что люблю какую-нибудь одну женщину и женюсь, так как не имею общественного значения» [2, 234].

Частный эпистолярный в «Котловане» повсеместно вытесняется дискурсом советской пропагандистской печати. Её перефразированные лозунги и устойчивые выражения профанируют стилистику личных писем, «серьёзность» нарративов о любовных историях, не сложившихся из-за «недостаточных революционных заслуг», «социальных нагрузок», поиска «наибольшей общественной» и «организационной пользы», государственной целесообразности, других «оправдательных» причин: «Сегодня утром Козлов ликвидировал, как чувство, свою любовь к одной средней даме. Она тщетно писала ему письма о своём обожании, он же, преодолевая общественную нагрузку, молчал, заранее отказываясь от конфискации её ласк, потому что искал женщину более благородного, активного типа. Прочитав же в газете о загруженности почты и нечёткости её работы, он решил укрепить этот сектор социалистического строительства путём прекращения дамских писем к себе» [2, 219].

«Бумажка», заполненная Настей печатными буквами и доставленная вместе с письмом адресату, символизирует торжество политической пропаганды над приватным почтовым дискурсом. «Настя писала Чиклину:

“Ликвидируй кулака как класс. Да здравствует Сталин, Козлов и Сафронов! Дядя Чиклин, Сталин только на одну каплю хуже Ленина, а Будённый

на две. Привет бедному колхозу, а кулакам нет”» [2, 234].

Экспансия общественно-политической и бюрократической лексики в речь героев и субъекта повествования, озвучивающего значительную часть событий с позиции, созвучной официальной идеологии, формирует в «Котловане» коммуникативную инстанцию, в соответствии с которой поступки, реакции и чувства персонажей, состояния окружающего их мира комментируются с помощью языка, подменяющего истинный смысл происходящего — увиденное, переживаемое и услышанное — надуманными сравнениями, характеристиками и понятиями: «ты теперь как передовой ангел от рабочего состава, ввиду вознесения его в служебные учреждения» [2, 201], «...приветствовал девочку как элемент будущего» [2, 201], «сторожить политические трупы от зажиточного бесчестия» [2, 225], «акт почитания подкулацких святителей» [2, 241] и др. О гробе, отданном девочке «для игрушек и всякого детского хозяйства», говорится: «пусть она тоже имеет свой красный уголок» [2, 216]. На подмене и грубом совмещении философских и политических понятий основано предположение Сафронова, предпочитавшего «формулировки», навеянные идеологическими штампами и стереотипами: «не есть ли истина лишь классовый враг?» [2, 195]. В ранней редакции путаница в понимании философских категорий напрямую зависела от рода общественных занятий собеседников Вощева. «Профуполномоченный <...> превратил свое лицо из [доброго] простого в серьезное: он не знал — профессия ли смысл жизни, или нет» [1, 182].

Платоновский повествователь, выявляющий и уточняющий специфику коммуникативного поведения героев, и в рукописи, и в основном тексте внимателен к подоплеке высказываний, искажавших вербализацию понятий и жизненных процессов. «Сафронов знал, что социализм — это дело научное, и произносил слова так же логично и научно, давая им для прочности два смысла — основной и запасный, как всякому материалу» [2, 193]. Пытаясь преруть в своём стремлении «отдаться» так называемой «наибольшей общественной пользе», Козлов, «просыпаясь, <...> вообще читал в постели книги, и, запомнив формулировки, лозунги, стихи, заветы, всякие слова мудрости, тезисы различных актов, резолюции, строфы песен и прочее, он шел в обход органов и организаций, где его знали и уважали, как активную общественную силу, — и там Козлов пугал и так уже напуганных служащих своей научностью, кругозором и подкованностью» [2, 220].

Дискурс политизированного, «почти научного» языка, искажающего суть социальных и природных явлений, в повести затрагивает разные сферы жизни. Показательна «учёба», проводимая в колхозе имени Генеральной Линии для «организованных» женщин, поверивших в «научность» лексического минимума

новой исторической яви: «Большевик, буржуй, бугор, бесценный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво-браво-ленинцы!». В том же эпизоде обнажена цель бездумного повторения «новой азбуки» и «сообщений», зазубренных по указке властей: «из слов обозначаются линии и лозунги» [2, 239].

Порицая искателей истины, герои, навязывающие пропагандистские штампы, претендуют на единственно верную интерпретацию исторических и всеобщих законов: «все равно счастье наступит исторически», — объяснял любые трудности товарищ Пашкин, будто он «почти всё знал или предвидел». «И с покорностью наклонял унылую голову, [в] которой [не оставалось ничего неизвестного] [уже нечего было думать]» [1, 202]. В колхозе имени Генеральной Линии активист распоряжался «с таким хищным значением», будто «вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались только в нём и более нигде» [1, 302]. Сафонов, соединяя «политику» с бытом, уравнивал поиск истины, традиционный для философии самосознания, с попытками листать «ведомости всемирного мёртвого инвентаря», жизнь в «убытке» и «смехотворности» [2, 195].

Трактовки, не обеспеченные реальным жизненным смыслом, во всех редакциях повести опротестовываются повествователем, конкретизирующим многие метафорические выражения. Так, например, упомянутые выше «ведомости всемирного мёртвого инвентаря» в дальнейшем изложении получают следующую интерпретацию: Вощеву «никто не мог прочесть на память *всемирного* устава, события же на поверхности земли его не прельщали <...> Позже он нашел след гробов, увлеченных двумя мужиками за горизонт в свой край согбенных плетней, заросших лопухами. Быть может, там была тишина дворовых теплых мест или стояло на ветру дорог бедняцкое колхозное сиротство с кучей *мертвого инвентаря* посреди» [2, 219. Курсив наш. — О. А.].

Аксиологические установки субъекта повествовательной речи, замечающего истинную «убыточность» происходящего, отличаясь от приведенных выше декларативных суждений и оценок, соответствуют принципиально иной дискурсивной тенденции, реализованной в «Котловане» как альтернатива умозрительным взглядам. Идентификация субъекта высказывания, ориентированного на признание созвучия законов естественной жизни природы и человека, происходит на ранних стадиях формирования текста. Уже в экспозиции повествователь замечает, что от ветра (и «невзгоды») «с тайным стыдом [подворачивались] заворачивались» [1, 169] листья одиноко стоящего дерева. Заметное место в рукописи отводится встрече Вощева с «травяной мелочью» и кузнечиками, в своих трудах живущими и поющими уверенно: «зря бы они не [произносили] производили звуков» [1, 180]. Независимость повествования от влияния казенных фраз находится здесь в прямой

зависимости от признания героем ценности и «самости» каждого, даже малого обитателя природного мира. Как только от желания «поймать для памяти кузнечика, чтобы разглядеть вблизи это существо, уверенное в своей жизни, и увидеть, почему оно уверено и не мучается» [1, 180], герой переходит к «отлову» поразившего его «самодостаточного» насекомого, в структуре повествования актуализируются обороты речи, характерные для практики служебного делопроизводства: «ему долго пришлось бродить и ползать, охотясь за кузнечиком, пока не удалось [изолировать] уединить его посредством шапки» [1, 180. Здесь и далее разрядка наша. — О. А.].

И в основном тексте на различных участках повествования сопрягаются нетождественные кругозоры, взаимодействуют и «соперничают» несовпадающие дискурсивные тенденции. Показательно одно из описаний рабочего дня: «Солнце уже высоко взошло, и давно настал момент труда. Поэтому Чиклин и Прушевский спешно пошли на котлован по земляным, немощёным улицам, осыпанным листьями, под которыми были укрыты и согревались семена будущего лета» [2, 212]. В приведенном примере нейтральное повествование «уточняется» языком, подверженным воздействию казенных штампов («настал момент труда»), но затем переходит к субъекту речи, воссоздающему неотменяемые законы природы: «были укрыты и согревались семена будущего лета». Проявленное в тексте натурфилософское измерение событий позволяет различать в сиюминутном вечное, увидеть большие возможности слова, ориентированного на воссоздание внутренней самости жизни.

На глубинную связь человечества с «братьями меньшими» указывают описания обитателей природного мира, озвученные по-разному в зависимости от аксиологических установок субъектов повествования. Мотивы непосильной «потной работы», сокращающей сроки существования человека и небесных тружениц — ласточек, акцентированы в описании землекопов, углубляющих котлован: «Ещё высоко было солнце, и жалобно пели птицы в освещенном воздухе, не торжествуя, а ища пищи в пространстве; ласточки низко мчались над склоненными роющими людьми, они смолкали крыльями от усталости, и под пухом и перьями был пот нужды — они летали с самой зари, не переставая мучить себя для сытости птенцов и подруг» [2, 182]. Не противоречит сказанному напоминание о символическом и печальном открытии Вощева: ощипав однажды умершую в полете ласточку, искатель истины обнаружил, что держит в руках «скудное печальное существо, погибшее от утомления своего труда» [2, 182].

Иначе построено описание птиц, собравшихся улететь на юг из деревни, подлежащей сплошной коллективизации. «На том месте собрались грачи для отлета в теплую даль, хотя время их расставания

со здешней землей ещё не наступило; но, наверное, грачи пожелали отбыть заблаговременно, дабы пережить в солнечном районе организационную колхозную осень и возвратиться потом к всеобщему учрежденному затишью» [2, 226]. В приведенном примере вновь сопрягаются несовпадающие кругозоры. Сообщение повествователя, рассказывающего о необычном поведении обитателей природного мира, «перехватывается» субъектом сознания и речи, понимающим связь происходящего с событиями из мира людей, но дающим всему объяснение на языке, принятом в казенном документообороте: «отбыть заблаговременно», «дабы пережить», «в солнечном районе», «организационную колхозную осень», «к учрежденному затишью».

Соотношение дискурсивных тенденций, выявляющее ограниченность слова, скованного официальными стандартами и стереотипами, акцентировано в нарративе о герое, решившем на время отстраниться от событий, происходящих в котловане. «Вощев тихим шагом скрылся в поле и там прилёг полежать, не видимый никем, довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств» [2, 218]. Затем следует развернутое «уточнение», явно тенденциозное из-за активизации голоса «всезнающего» субъекта повествования, исходящего в своих оценках из разъяснительно-пропагандистской логики: «Вощев пошёл туда походкой механического человека, не сознавая, что лишь слабость культурной работы на котловане заставляет его не жалеть о строительстве будущего дома» [2, 219]. Однако далее — в соответствии с актуализацией более разборчивого внимания к происходящему в мире природы, — сообщается о «нагретом облаке тужащейся жизни, потеющей в труде своего роста» [2, 219], «терпеливом» и «усталом» существовании жизни, бредущей в неизвестность. Риторика, чуждая мыслям и побуждениям героя, вытесняется описанием, вырастающим из философского взгляда на мир: «Он осмотрелся вокруг — всюду над пространством стоял пар живого дыханья, создавая сонную, душную незримость; устало длилось терпенье на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени и своего движения: начало его всеми забыто и конец неизвестен, осталось лишь направление во все стороны. И Вощев скрылся в одну открытую дорогу» [2, 219].

Глубинную связь между социальным и природным мирами, не всегда поддающуюся вербализации (в условиях активизации официального языка), в «Котловане различают герои, ждущие «издали по влажному воздуху какого-либо звука, чтобы услышать утешение в таком трудном пространстве» [2, 232]. Елисей «постоянно прислушивался ко всяким звукам, исходящим из масс или природы, потому что ему никто не говорил слов и не давал понятия, так что приходилось слушать даже отдалённое звучание» [2, 226].

Ожиданиям «истинного» слова, необходимого людям, дезориентированным в мире искаженных и подмененных ценностей, явно не отвечает агитационно-пропагандистский дискурс. В процессе работы над рукописью А. Платонов тщательно выверяет радиообращения по «трубе», установленной в жилище землекопов. После призыва «обрезать хвосты и гривы у лошадей», «мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства!» [1, 229] и других устных «директив», переживаемых Жачевым и Вощевым как «личный позор» [1, 229], писатель не сразу решает, каким будет последнее наставление устройства, наполняющего «звуками пустую тоску в голове» [1, 230]. Первоначальные варианты «каждый трудящийся должен [следить за накоплением] [иметь тревогу в сердце, пока со] ибо социализма ещё нет, а он] заменяются на «помочь скоплению снега на коллективных полях» [1, 230]. После этого сообщения радио перестаёт работать. И рассказчик, обходясь без штампов официально-делового стиля, лукаво уточняет, что в этот момент «лопнула сила науки, дотоле равнодушно мчавшая по природе всем необходимые слова» [1, 230]. В другом эпизоде представлены сходные смысловые акценты: радиорупор, на колхозном торжестве переключившийся с музыки на призывы готовить «ивовое корье!..» и тут же замолчавший, не может отремонтировать прежде справлявшийся с этой работой инженер Прушевский, терзаемый сомнениями: «предоставит ли радио бедноте утешение и прозвучит ли для него самого откуда-нибудь милый голос» [2, 258].

«Необходимые слова», врачующие души, мелиоративная и научно-техническая информация, не утрачивая актуальности для А. Платонова в период работы над «Котлованом», выводятся из зоны действия несуразной пропаганды. Показательно, что в эпизоде, где «социалист Сафронов» своими речами, напоминающими о пародии [3, 214], пытается «замещать» замолчавший радиорупор, акцентирована несовместимость языка науки с политической демагогией: «Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи! Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него [сползла] слезла шкура [скуки] капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классового борьбы и произошел бы энтузиазм!» [1, 230].

Альтернативой пропагандистским — речевым и организационным — «достижениям» во всех редакциях повести являются душевная смута, сомнения героев. И Сафронов задается вопросом: «Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?» [2, 194], но этого вопроса недостаточно.

Для понимания философии «существования», его устойчивых и преходящих величин важна «память сердца», актуализирующая значение для современ-

ности ценностей ушедшей жизни. Их значение для индивидуального сознания выявляется на встрече мало чем омраченного прошлого с удручающим настоящим. Виды «деревни во ржи», успокаивающая даль, похожая на бесконечность от «слияния неба с землею в конце равнины», мельница, перемалывающая «насущенный мирный хлеб» [2, 213], не отпускают мужика, прибывшего к бараку землекопов из-за проводимой коллективизации. Воцев смотрит на Настю так, «как в детстве он глядел на ангела на церковной стене», и верит, что «это слабое тело, покинутое без родства среди людей, почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни, и ум ее увидит время, подобное первому исконному дню» [2, 214]. Инженер Прушевский, страдающий от неприкаянности, «в стороне от города и дороги» замечает, что «день был мутный, неопределенный, будто время не продолжалось дальше — в такие дни дремлют растения и животные, а люди поминают родителей» [2, 215].

С речью повествователя, внимательного к символам и обрядам, сбереженным в памяти героев, контрастируют высказывания, возвращающие читателя в ущербную современность. Так, например, слова Чиклина «скучно тебе?», обращенные к «павшему товарищу», обрываются итоговым «наблюдением», маркированным канцеляризмами: «Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи убитым» [2, 215]. Плач крестьянок, ждущих от коллективизации общей непоправимой беды, сравнивается с агитацией: «женщина — не то старая девка, не то вдовуха — <...> бежала по улице и голосила таким агитирующим, монашьям голосом, что Чиклину захотелось в неё стрелять» [2, 245]. Духовное родство и единство, последнее целование, столь значимые для обреченных на смерть людей, сельский активист трактует как приобретенную «сознательность»: «Значит, отозвалась массовая работа актива! Вот она, чёткая линия в будущий свет!» [2, 248]. С описанием последнего дня Насти, попросившей принести ей останки умершей матери, соединяются уточнения, поясняющие «забывчивость» всех, кто, проходя мимо выстуженного барака, не находил времени проведать тяжело больного ребенка: «каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации», «кругом непрерывно нагнеталась общественная польза» [2, 277].

Противоестественность риторик, навязывающих новую аксиологию, акцентируют параллели с миром природы, выявляющие недостаточность духовных связей в социуме. В ранней редакции Козлов называет боли в сердце «крысой», чтобы направить «заявление в охрану труда». И рецепт председателя окрпрофсовета, упреждающий это обращение, подобен лозунгу: «организуем кружок осовавиахима и травите любую тварь — практикуйтесь против буржуазии на мелочи!..» [1, 202].

«Комариная мелочь и болезни» для товарища Пашкина находятся в одном ряду с «размышляющими кулаками» и «спящей сельской отсталостью» [1, 202]. Эти примеры не вошли в основной текст повести «Котлован», но сохранена и усилена общая дискурсивная тенденция, состоящая в перенесении казенной политизированной риторики на природный мир: «Дезорганизация!» — обвиняет активист «остужающий ветер природы» [2, 235]. «Неужели птица — подкулачница?» [2, 229], — задаются вопросом «подручные авангарда», обученные во всем искать признаки и категории «классовой борьбы». Организатор местной колхозной яви убежден, что «в руках стихийного единоличника и козёл есть рычаг капитализма» [2, 235]. Категории большевистской политической доктрины передаются Насте, в ходе раскулачивания посчитавшей, что медведь-молотобоец и другие «эксплуатируемые» «животные тоже есть рабочий класс» [2, 252]. Следуя официальному курсу, девочка без всякой жалости поступает с «мироедами», доступными её детскому разуму: «Настя задушила в руке жирную кулацкую муху» [2, 252].

Соотношение дискурсивных тенденций в повести подчиняется общему правилу: чем значительнее деформируется естественный порядок социальной жизни, тем разительнее изменения в привычном поведении животных. Раньше срока улетают в теплые края грачи, чтобы пережить там «организационную колхозную осень» [2, 226]. «Обобщественные» лошади «сплоченной массой» идут на водопой, не опуская голов к растущей пище на земле, пьют «в норму», переносят на общественный двор «посильную долю» сена. Спокойствие скота, организованного и сплоченного, удивляет и пугает Воцева. Ему мерещится, что «все лошади с точностью убедились в колхозном смысле жизни, а он один живет и мучается хуже лошади» [2, 236]. Растревоженные мухи, расплодившись на никому не нужной убоине, летают по деревне «целыми тучами, перемежаясь с несущимся снегом» [2, 252]. Деятельное участие в ликвидации кулачества принимает медведь, долгие годы трудившийся «даром на имущих дворах», но ставший «молотобойцем в колхозной кузне» и зачисленный в «самые угнетенные батраки» [2, 249]. Нельзя не признать, что его поведение в сценах раскулачивания — буквальная реализация политической метафоры «классовое чутье». Активист, в свою очередь, «чует» «классы, как животное» [2, 255]. «Вочеловечивание» зверя и уподобление человека животному определяются сходными причинами — распределением между ними ролей, противоестественных и для природы, и для социума. Поучаствовав в раскулачивании, медведь, прежде покорный кузнецу, начинает «крушить железо, как врага жизни», вызывая красноречивые нарекания колхозников: «Наказание господне... А тронуть его нельзя — скажут, бедняк, пролетариат, индустриализация!..» [2, 266]. Эти опасения укрепляет при-

крепленный к плетню пропагандистский «возглас, нарисованный по флагу: “За партию, за верность ей, за ударный труд, пробивающий пролетариату двери в будущее”» [2, 265]. Одержимый «лингвистической манией», «восприимчивый к языку директив» и пропагандистских метафор [4, 111], медведь пытается реализовать их буквально. И вновь Воцеву, внимательному к поведению животных, становится не по себе: «зверь так трудится, а он стоит на покое и не пробивается в дверь будущего: может быть, там действительно что-нибудь есть» [2, 266].

По мере развития действия дискурс официального языка стремится распространить своё влияние не только на природу, но и на вселенную, переписать по-новому привычный космогонический порядок. На ранней стадии сюжета вселенная настраивала на поиск истины, «вопрошающее небо» притягивало к себе «мучительной силой звезд» [2, 171], «вдалеке, на весу и без спасения, светила неясная звезда <...> Прушевский глядел на нее сквозь мутный воздух, время шло, и он сомневался» [2, 184]. На более позднем этапе действия привычная космогония «советизируется» в соответствии с бюрократическими порядками. Прушевского совсем не радует «завоевание звезд», даже «самых далеких», «где в недрах те же медные руды и нужен будет тот же ВСНХ» [2, 268]. На пути в места «сплошной коллективизации» Воцев видит в ночи «звездное собрание, <...> мертвую мать Млечного Пути», не исключает, что на небосводе «будет вынесена резолюция о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни», но засыпает, «не надеясь» [2, 223]. В рукописном варианте мысли героя о жизни вселенной, подверженной бюрократическим порядкам, были выражены с ещё большим пессимизмом и неопределенностью: «безысходное заседание», «какая-либо резолюция» [1, 246] и т.п.

«Походу на тайны» вселенной, о которых грезили герои ранних произведений А. Платонова, в «Котловане» мешает реальность, «удостоверенная» казенным языком. Логике надуманных сравнений и подмен соответствуют разъяснения сельского активиста о том, что слёзы крестьянки с «неимущего» подворья, оставшегося без обобществленной лошади и умирающего хозяина, вызваны «солнцем новой жизни»: оно «взошло, и свет режет <...> тёмные глаза» [2, 237]. Пропагандистским задачам служит «похоронное шествие», назначенное, чтобы «почувствовать торжественность смерти во время развивающегося светлого момента обобществления имущества» [2, 231]. В ответ на «вечернюю желтую зарю, похожую на свет погребения», активист объявляет «звездный поход колхозных пешеходов в окрестные, жмущиеся к единоличию деревни» [2, 232], так как исходит из умозрительного посыла о том, что небесные светила являются частью новой колхозной яви. Однако в речи повествователя «колхоз», «тьма» и «мрак» по-

следовательно сопрягаются: «Через тьму колхозной ночи Чиклин дошел до пустынной залы сельсовета» [2, 225], «текущее время тихо шло в полночном мраке колхоза» [2, 225], Воцев опасался, что «будет один смотреть глазами во мрак над колхозом» [2, 232]. Картину обобществленного «предбанника» будущего дополняют «неясная луна» [2, 257], «печальность замершего света» [2, 258] — эта нерадостная атрибутика сопровождает торжества, организованные по поводу ликвидации «вдаль кулаков».

Природные стихии, как и небесные светила, передающие умонастроения героев, не остаются безучастными к низложению и бесславной гибели сельского активиста. В деревне внезапно «поднялась снежная метель, хотя бури было не слышно» [2, 273]. И, внимая стихии, жители деревни принимаются заметать чистым снегом засиженную мухами колхозную территорию, делая это «для гигиены» [2, 273] души, а не земли (над её «снежной чистотой» и прежде «раздавались удары молотобойца» [2, 264]). На новой стадии развития сюжета в поле зрения повествователя оказывается «бледное солнце» [2, 273], высоко стоящее над «округом», а не ночная тьма (ночь возвращается с описанием последних часов пребывания Насти на свете).

Официальный язык, ранее предрекавший «наступление коммунизма в сельском хозяйстве» [2, 241–242], претендовавший на политизацию приватной жизни, природы и всего мироздания, теряя прежнюю интенсивность, все отчетливее вовлекается в полемический контекст. «Пускай печку ставит, а то в этом деревянном эшелоне до социализма не доедешь!..» [2, 278]. «Воцев стоял в недоумении над <...> утихим ребенком — он уже не знал: где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении?» [2, 280]. «Я теперь в коммунизм не верю! — ответил Жачев в это утро второго дня» [2, 280].

Созвучия с ветхозаветной стилистикой, образами и структурой притчи, не раз отмечавшиеся в научнокритической литературе, в повести сопровождаются новозаветными аллюзиями [5, 426]. Смерть Насти, перевернувшая сознание героев, даже Чиклина, полагавшего прежде, что «Христос ходил один неизвестно из-за чего» [2, 235], заставляет наконец-то заметить: «все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована» [2, 280]. В структуре повествования «утро второго дня» соотносится с «исконным первым днем», в который героям остаётся верить как в будущее воскресение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Платонов А. Котлован. Текст. Материалы творческой истории / А. Платонов. — СПб., 2000. — 379 с.
2. Платонов А. «Взыскание погибших» / А. Платонов. — М., 1995. — 672 с.

3. Скобелев В. П. Поэтика пародирования в повести А. Платонова «Котлован» / В. П. Скобелев // Андрей Платонов. Исследования и материалы. — Воронеж, 1993. — С. 61–71.

4. Erelboin A. Le poil et la fourrure: Autour du personnage

de l'ours dans La fouille de Platonov // Cahiers du Monde russe et soviétique, XXXIII (I), — 1992. — P. 110–112.

5. Вьюгин В. И. Андрей Платонов: поэтика загадки (Очерк становления и эволюции стиля) / В. И. Вьюгин. — СПб., 2004. — 440 с.

*Воронежский государственный университет
Алейников О. Ю., доцент кафедры русской литературы
XX и XXI веков, теории литературы и фольклора
E-mail: oaleinikov@yandex.ru*

*Voronezh State University
Aleinikov O. U., Associate Professor of the Russian Literature
of XX and XXI Centuries, Theory of Literature and Folklore
Department
E-mail: oaleinikov@yandex.ru*